

*А кругом — взгроможденные ярусы,  
Облака — облака — облака...*

**В. Ходасевич**

**К**аменная осыпь длинным языком своим вползает в сосновый лес у подножья горы и в нем теряется. Огромные валуны и булыжники, когда-то бывшие единой монолитной скалой, прикрываясь зарослями малинника и мелким осинником, все глубже врастают в землю. И только несколько глыб, сумевших прорвать передовую линию сосняка, гордо и осанисто выглядывают из рыжих останков опавшей хвои коренного леса.

У основания одной такой, величиной с маленькую скалу, бьет родник. Родниковая вода стекает в песчаное углубление и, переполняя его, тонкой струйкой по дну овражка перетекает в маленькое болотце.

На ровной, словно специально кем-то выбитой в камне площадке, стоит мятая кружка. Чуть далее — костровище, за костровищем шалаши из еловых лап. У шалаша несколько холицовых мешков, большой прокопченный котелок, миска да пара деревянных ложек с отколотыми, а может, и обкусанными краями. На настиле из сосновых плах столярные инструменты: большой фуганок, лучковая пила, долота, скобель, моток бечевы, куски мела.

Над поляной сизая пелена от тлеющих дымокуров. Дым сырых веток сегодня против комара в самый раз...

Хорошо отточенное закругленное лезвие плотницкого топора легко входит в тело закрепленного на плахах соснового бревна и подламывает отделяемую щепу словно шерхебель. Лицевой кант получается ровным, без волн. В опытной руке топорнице сидит плотно и усадисто. Дело делается знакомое, взмахи топора размеренные, без суеты и спешки. Спешка любому хорошему делу только во вред...

Он и дерево-то без суеты выбирал. Хотя вроде бы чего его, дерево это, выбирать, оглянись — вон их кругом сколько! Бери любое. Не-е-ет. Для поклонного креста любое дерево не пойдет. Чем выше будет крест, тем тоньше и крепче нужен брус. Хорошо бы, конечно, из дуба или там кипариса, только откуда в нашей тайге такие деревья?! Можно и из осины, да нужной высоты дерева среди осин не сыскал.

Остановился на сосне.

А уж как с деревом-то определился, дальше все просто — спилил, обрубил со ствола сучья, перекантывал бревно на заранее расчищенную поляну, на плахи уложил. Скобелем от коры зачистил. Для себя заранее решил — кант с тыльной стороны делать не будет — был бы кто в помощь, а так... Кант только по трем сторонам.

*Разметил бревно, затеси сделал да, помолясь, и за топор взялся...*

*Доброе дело всегда не в тягость. Душа и руки знали, что делают. Потянулись дни — летние, долгие, жаркие, после Ильи — с прохладой, по сентябрю — дождливые...*

*Работу, начатую долгими июльскими днями, закончил он только в конце сентября. По первым заморозкам.*

*Над сложной из крупных валунов и скрепленной по периметру бревнами голгофе на небольшом возвышении у родника стоял восьмиконечный поклонный крест. Высокий, четырехметровый.*

*Над главной вертикальной перекладиной две укорочены и одна косая, верхний край которой направлен к северу, нижний — к югу.*

*На малой верхней перекладине надпись: «Иисус Назорей Царь Иудейский»...*

*Еще двое суток он не уходил от креста — прибирал поляну, жег стружки, щепу. Молился. Последними в костры пошли останки шалаша...*

*Ну вот, теперь на зиму и домой. А уж по весне здесь и часовенку можно ставить.*

*Негоже роднику святому без часовенки, сила в нем великая...*

## 1

Летняя ночь в лесу наполнена звуками: шорохами, стонами, чьими-то осторожными шагами, шуршанием опадающих листьев, потрескиванием сухих веток, криками ночных птиц, вздохами, протяжными скрипами деревьев. Чьи-то крылья с легким свистом прорезают прохладу ночи. Писк умирающей плоти.

Для жизни, как и для смерти не существует ни дня, ни ночи, ни смены времен года...

Но пока горит костер, пока стреляют прогоревшие угли и в черное, почти угольное небо улетают искры, пока тлеет неспешный разговор, звуки ночи не беспокоят душу.

Но лишь только костер догорит, ночь вступает в свои права: тьма и шорохи даже сквозь прикрытые веки пробираются в душу. Легкая тревога и беспокойство холодят сердце, а встревоженный разум наполняется воображаемыми опасностями.

И только вид безмятежно посапывающего во сне товарища рассыпает в прах ночные страхи. Сон наливает свинцом веки, глаза закрываются...

Петр Фадеев и Иван Еремеевич Конев полжизни знакомы. А может, и больше. Одно время дружили крепко. Семьями. По молодости всю округу исходили-исползали, сначала одни, потом с женами, а после уж и с детьми. Каждую сопочку, каждую тропочку, каждую речку и ручейки наперечет знали. И грибниками-ягодниками заядлыми слыли, и рыбаками-охотниками были. Да что говорить...

Потом жизнь развела. Конев в город с женой уехал, к сыну старшему. Да что-то там не задержался, не сжились как-то — в соседней области в леспромхозе обосновался. Фадеев к этому времени овдовел, квартиру детям оставил, сам на дачу перебрался. Благо дача рядом с поселком — да при машине это и не главное.

С той их дружбы годов-то много пролетело, но связь мужики не теряли. Сначала переписывались, а как сотовые телефоны в моду-то вошли — перезваниваться начали. А нынче, при оформлении пенсионных дел, Иван Еремеевич в поселок-то

собственной персоной наведаться, да в гости к Петру и заглянул. А в гостях и задержался. Куда пенсионерам торопиться?..

На третий день воспоминаний и на рыбалку выбрались. Заехали с вечера. Костерок, ущица, ну, соответственно, грамм по двести на брата — хорошо!

Коневу и место внове, и озеро незнакомо: без него уж Петр это место с озером разведаль. Ну, так тем и интереснее — новое, оно ж всегда притягивает. Тем более друг наобещал кое-чего необычного показать...

Встали рано — только-только горизонт светлеть начал. Не спеша сполоснулись, на костерок чайничек взгромоздили. Холодной юшки похлебали. После вчерашнего принятого хорошо юшка на душу легла. Словно живая вода.

А тут уж и макушки деревьев порозовели... Солнце пропекшимся блином выкатилось над лесом. Побежало рыжей дорожкой по озеру. Предутренний ветерок стих, и невесомый туман, цепляясь за кусты и травы, стал затягивать берега. Лик озера разгладился.

Сквозь зеленоватую толщу воды сначала легким нечетким абрисом, затем все явственнее стали прорисовываться контуры православного храма. Пять маковок его куполов блестели позолотой, беленые стены отливали серебром.

Заиграли заутреню. Чистый малиновый звон заструился над озером и притихшим лесом. На прибрежных раскидистых ивах перестала трепетать листва.

Ясный рассвет да долгая песня колоколов. Время застыло...

Но вот в лесу раздалось первое кукушкино «ку-ку...» — и гладь озера будто кто задел рукой, колыхнул ли невзначай, озеро подернулось легкой рябью, закачались кресты на куполах, изображение храма стало двоиться, троиться, а затем медленно растворилось в глубине озера...

## 2

— Видел?..

Оторопевший Конев задумчиво и недоуменно мотнул головой.

— Видел...

Чуть помолчав, добавил: — И даже слышал...

— Звон колокольный?..

— Звон колокольный... Бред какой-то! Не бывает же такого!

— Не бывает... А здесь — сам видишь... Такое вот дело...

Иван Еремеевич ничего не ответил. Откинувшись спиной на ствол кривой березы, покусывая тонкую подсохшую былинку, смотрел он на озеро, в котором отражались проплывающие по небу облака.

Во все, что только что произошло, поверить было трудно. Совершенно невозможно! Но ведь видел?! Видел. И даже слышал. Сам и видел, и слышал. Бред...

— Храм я видел. Пятиглавый. Заутреню играли...

— Ну, да, только поутру этот храм увидеть можно. И заутреню услышать... Да и то — не всем. Не первый ты, кого я сюда привожу. Но первый, кто вместе со мной и звон колокольный услышал, и храм увидел... И что еще интереснее, озеро это я не всегда нахожу. И дорога вроде приметная, а бывает — не поверишь! — днями хожу, а озера нет... Многим рассказывал, так они у виска крутили — отродясь, мол, здесь никаких озер, никаких храмов не было. Лагерь — да, был одно время, перед войной зеков нагнали, они тут лес валили, так и лагерь в пятьдесят пятом прикрыли. Одна колючка да труха от бараков...

— Если здесь ничего, даже озера этого, нет, как все вот то, что мы сейчас видели, объяснить?!

— Разве в жизни все можно словами объяснить? Да и надо ли?..

Фадеев тяжело встал, подошел к костру и снял с рогулины закипевший чайник...

Озеро жило своей обычной жизнью: на отмелях суетились мальки, в зарослях молодого камыша раздавалось чавканье и причмокивание сазанов, кормящихся озерными травами, поползень головой вниз челноком сновал по обрубку старого пня, торчащего из воды у берега. Порхали над озером стрекозы, бабочки, в прибрежных травах стрекотали кузнечики...

Никакого таинства и никаких чудес. Обычное озеро в обычном лесу...

— Слушай, Петро, а может, здесь это... то самое знаменитое Беловодье, ну, которое рай на земле? Как думаешь? Ну, или там Китеж какой, а?

— Окстись, Вань! Беловодье на Алтае, там, где Катунь с Бахтармой сливаются, а Китеж на Нижегородчине, в Светлояре-озере уж сколько веков. Мы-то от тех мест-то — у-у! — в какой дали. Думай малость. Беловодье, Китеж, а остальные видения?! Там, где люди живые: бабы, мужики?..

— Ну а что тогда? Не просто ж так картинки эти? Может, дурман какой озерный?

— Ага, дурман — и только на рассвете?! А днем, значит, пожалста — рыбу лови?!

— Ну а что? Может, в воде чего? Мы умылись, и поперли видения разные...

— Да ну тебя, Иван! Несешь не пойми что...

— А что? Вроде логично... Давно видишь, ну, картинки эти?

— Да уж три лета... Заболел я как-то. Сильно. В больницу меня свезли. Диагноз так толком и не поставили. Лечили от всего сразу. Сейчас понимаю — от жизни меня лечили. Лекари! Думал — все! Ни таблетки, ни уколы — ничего не помогало. Доходил. На меня уж и врачи-то внимания не обращали, да и дети дорогу забыли, кому ж нужен покойник, хоть и живой пока?

Короче, думал я — полный аминь мне и вечная память. Ну а тут, в палате нашей, мужичок один лежал. Шибутной такой. Шило в заднице. Чем он болел, я так и не понял, да он и не распротранялся. Тормошил всех, дергал — закусать не давал. Мы в той палате все тяжелые лежали. Каждую неделю кого-нибудь вперед ногами выносили, а на замену на ту же кровать опять доходягу клали. Короче, перевалочный пункт — с этого света на тот.

Ну и как-то после очередного отбытия подсел он, мужичок этот, ко мне Ты, говорит, местный? Округу хорошо знаешь? Знаю, говорю, с малолетства по этим лесам шастаю. Вот мужик и говорит, а об озере с храмом слышал? Нет, говорю, не слышал. Это, говорит, ничего. Зброшенный лагерь знаешь? Знаю, говорю, кто ж его не знает. Вот, говорит, тебе туда, к лагерю, и надо. Ты крепкий. Дойдешь. Я ему: да какой я крепкий, даже лежать уже не могу! А он мне: крепкий, крепкий — вот скольких уж вынесли на погост, а ты все держисься.

В общем, так говорит: охотники, а то бывает, грибники-ягодники, по утрам к востоку от лагеря иногда колокольный звон слышат, будто заутреню играют. А никаких церквей, ни поселений там отродясь не стояло. Сам знаешь, тайга на востоке на сотни верст. Но ходили люди туда, а там — озеро. И вода в нем целебная. Вроде как живая. Кто до озера доходил, словно обновленный возвращался. Кому-то и просто умыться хватало, а кому-то и неделю-другую приходилось на озере прожить, чтобы здоровышко вернуть. Только не каждому то озеро открывается. Как уж оно кого выбирает, одному Богу известно. В общем, говорит, если жить хочешь — тебе туда к озеру, на колокольный звон...

Я говорю, мол, а ты ж чего? Меня отправляешь, а сам? Давай вместе? А мужик мне: пробовал я, не единожды пробовал, не открылось мне озеро, видать, сильно я по жизни грешен или еще чего там. Да теперь уж и поздно — сегодня и меня вынесут...

И точно, вечером прилег тот мужик на кровать вроде как на минутку, а потом вдруг приподнялся, обернулся ко мне, махнул рукой: «К озеру, к озеру иди...» — откинулся на спину, вытянулся — и все, помер...

### 3

Ноги не держали. При каждом шаге подгибались колени, кружилась голова. Тошнота подкатывала к горлу. Тяжелый металлический привкус забивал рот. Дикое желание лечь, лечь и никогда не вставать! Боже, как плохо-то!

Испарина пробивала лоб, выступала над верхней губой. Дурнота то накатывала, то отступала...

Ухватившись за дужку спинки кровати, пытался он сделать хотя бы шаг, затем хотя бы два, три... А тело не слушалось и при каждом усилии начинало трястись мелкой противной дрожью. Однако...

Да, конечно, он знал, что слаб. Очень слаб. Но до такой степени?! Как же теперь в себя-то приходиться?!

А в голове одна мысль, словно ее кто вдалбливает в мозг: «К озеру. К озеру надо. Там все лучше будет. Все лучше, чем в этих стенах...»

### 4

— Короче, добился я выписки. Расписку оставил, мол, если со мной чего, то врачи тут ни при чем. Ходить почти месяц заново учился, а то как обезноженному-то идти? Сто раз думал — сдохну! Только рассказ того мужика и держал меня на свете. В общем, к озеру я приполз, не пришел, натурально приполз, на карачках. Четверо суток от заброшенного лагеря на колокольный звон полз. Проснусь утром, слушаю — звонят? Звонят. Ну, я на тот звон и ползу...

В одно утро очухался оттого, что захлебываться стал: что за дела, думаю? Оказывается, головой в озере лежу. Дополз-таки. Вот уж тогда я наглотался, напился воды до одури, внутрих больно стало. Пью — остановиться не могу. А вода! Вкусная! Холодная — зубы ломит! Отполз к соснам, лежу, глаза в небо...

А тут и колокола заиграли. Лежу, плачу — светло на душе, легко, хоть лети...

За ствол сосновый ухватился, привстал, в озеро гляжу, а там храм в пять куполов сияет! Прямо вот как сегодня! И тут меня вырубил. Напрочь! Сколько под сосной валялся — не помню. Может, час, может, день, нет — не помню.

Когда в себя пришел — день был. Солнечный. Теплый. Помолился я. Как помолился? Да как сумел, так и помолился. Что помнил, что знал, как чувствовал — все в кучу сгреб. Такая моя первая молитва была. Собрался с силами да в озеро и залез — искупался...

Так вот, в молениях да купании, здесь три недели и провел. Озеро-то это от родничка малого питается, с которого мы с тобой воду на чай, уху вчера брали. Родник тот освящен кем-то — видел, на камне рядом крест выбит? А

еще голгофу давнюю я здесь нашел. Развалилась, правда, уж вся, бревна в труху, камни раскатились, травой ее затащило, но все одно углядеть ее можно. Значит, крест здесь стоял поклонный. А уж время ли, люди ли от него и щепы не оставили, нам знать не дано. Думаю, и часовенка здесь была. Уж больно место для нее как раз...

Вот, значит, недельки через три окреп я, ожил и телом, и душой, домой засоби-рался. Утром того дня, как домой идти, под звон колокольный помолился, на озеро напоследок взглянул, да так столбом и застыл — жену, Клавдию, свою увидел. Вот как храм мы с тобой сейчас видели, так в озере Клавдию и вижу...

Тонко звенели комары, где-то неподалеку переругивались, что-то не поделив, птицы, надоедливо гудели и крутились у лица слепни. Любопытный бурундук, оседлав старый выворотень, разглядывал людей у озера. Шустрый вьюрок, блеснув розоватым оперением, юркнул в дупло на сухой сосне. Выглянул на секунду — вроде как удостовериться: видел ли его кто? — и снова скрылся в своем убежище. Лето в разгаре. Все в лесу жило и дышало в полную силу...

— Ну, чего замолк? — Еремеевича просто распирало любопытство, и хотя он еще окончательно не решил для себя — верить или не верить во все то, что произошло и происходит, ему страшно хотелось узнать, а что там дальше-то было? Да и еще легкая обида подступала — дружок называется, за столько времени и ни слова! О чем только по телефону ни говорил, а об этой истории ни гу-гу...

— Рассказывай...

— А что рассказывать? Вижу я, улица наша деревенская, ну та, что вдоль пруда, не теперешняя, а та, что лет сорок назад, без этих, без коттеджей наворочен-ных, — и будто туманом все каким слегка прикрыто, и Клавдия по улице идет, не идет даже — плывет по тому туману. Воду, два полнехоньких ведра на коромысле несет. Ни капли не расплеснет. Молодая, красивая...

Фадеев неожиданно замолчал, потом отвернулся к лесу и как-то вдруг по-детски коротко и беззащитно шмыгнул носом...

Конец чуть помедлил и, не дожидаясь продолжения рассказа, подсел к другу.

— Ну, ты это, Петро... времени-то уж сколь прошло... не вернешь ведь ничего...

— Такая, понимаешь, красивая! А мы, значит, неженатые еще. А она воду — полным-полны ведра — к дому нашему несет. К будущему нашему дому. А дома-то еще и нет... А тут кукушка эта — нашла ж время! — закуковала, и все... Так и не доглядел, что там дальше-то...

— Моя баба если воду во сне видит — к добру, говорит...

— Так у нас с Клавдией только добро в жизни и было... Ты знаешь, с того случая я звон-то каждый раз слышу, а картинки храма озеро с картинками людей чередовать стало. Разных людей. Знакомых и незнакомых.

Более всего мужика одного вижу. Плотник он. Да, видать, не из последних. Пилит, строгают, но чаще топором работает — над бревном стоит, голова белым платком обвязана, и ладно так бревно-то обтесывает. И справа, и слева. Без спешки. Красиво так работает. Аж завидно. Устанет, воды из баклаги попьет — и снова за работу. А то сидит на бревне и что-то на плахах оструганных вырезает. Бывает, голову поднимет и долго-долго на меня смотрит. Я первые-то разы пугался было — ну, мало ли! — а потом пообвыкся, тоже на него гляжу...

Вот и сейчас — ты храм видел, а я его...

— Кого его? Плотника, что ли? Как это? В одно озеро глядели, а каждый видел свое?! Что за бредятина?!

— Бредятина? Ну, не знаю... Ты подумай, представь — мы с тобой одно-временно в зеркало глядим и что видим? — ты — мое лицо, я — твое. Или так,



ты — свое, я — свое. Выходит, так и здесь — смотрим в одно зеркало, ну то есть озеро, а видим каждый свое...

— А звон?

— А что звон? Звон мы оба слышим, звон от картинки не зависит. Заутреню играют всегда...

5

День летний хотя и долог, но приходит время и он кончается. В разговорах за жизнь к теме утренней мужики не возвращались. Рыбачили, уху варили, рыбу на рожнах жарили. Иван Еремеевич под вечер на россыпь сбегал, пару рябчиков подстрелил — не зря же ружье в такую даль по жару с собой тащил. Дикого лука нарвал, клубней саранок нарыл. Потом в фольге «подножный корм» этот вместе с рябчиками в углях запекли...

Ужин знатный получился. Только вот рюмочку под такой стол Фадеев принять отказался. Все, говорит, нельзя мне более водочку. Иван, насмотревшись утром разных непоняток, уточнять, почему вчера было можно, а сегодня нельзя, не стал. Нельзя, значит, нельзя. Чего лишнего раз человеку в душу лезть? Сам-то принял с удовольствием, потому и спал крепко и хорошо. И ничего ему не снилось...

Проснулся Иван свежим и бодрым, словно все силы давно растраченные вернулись. Петра в палатке не было. Нашел его Конев у озера.

Накинув поверх плеч толстый вязаный свитер, сидел Фадеев на комле старой ветлы у воды.

— Давно тут?..

— Давно. Считаю, не ложился. А ты долго спишь, счастливый. Я уж тебя будить хотел, да пожалел, уж больно сладко ты спал.

— Скучал, что ль, без меня? — Иван Еремеевич коротко хохотнул.

— Разговор есть. Серьезный. Ты вот что, Иван, не обижайся на меня, мне сказать тебе много чего нужно. Поймешь — благодарен буду, нет — значит, не смог объяснить...

— Что-то ты круто, Петро, завернул. Хочешь что сказать — скажи, а я уж подумаю, как к тому относиться. А то еще ничего не сказал, а уж — обижайся, не обижайся. Давай, что там у тебя?

— Помнишь, вчера я тебе о плотнике говорил? Так это он, плотник этот, здесь и поклонный крест ставил, и часовенку срубил. Позже в монахи постригся, облачился в рясу, камилавку да в отшельники и подался. От людей ушел: и от хороших, и от плохих, от радушных и от завистливых, от суетных и неспешных. Здесь скит основал. Родник освятил. Жил в ладу с собой и миром. Да только у нас ведь как? В какую глушь ни заберись — все одно дорогу к тебе отыщут. Пошли к нему люди. Всем помогал, кому словом, кому делом, никому не отказывал...

Сначала за помощью и с добром шли, а потом и со злом пришли.

Ты же знаешь, тогда, после смерти вождя всех народов, во многих лагерях забастовки да бунты начались, люди амнистии требовали. Насиделись ведь, наголодались до невозможности, набедовались до последней степени отчаяния. Где митингами да невыходами на работу обошлось, а где и до стрельбы дело дошло. Воркутинское да Норильское восстания самые кровавые были. Да и здесь, в нашем лагере, бунтовали. Вот и те, у которых кончилось терпение тянуть лямку лагерной зоны, те, что были на так называемой «таежной командировке», смяли охрану на лесосеке да в побег и ушли. Как тогда говорили: хоть час, хоть день, да на воле...

Отшельник и этих четверых, бежавших из лагеря, приютил. Думали они в скиту сил набраться, отлежаться немного, воздухом воли надышаться да на материк прибрататься. Не сложилось...

Предотвратить-то побег оперчекисты не смогли, но вот на отлов беглецов и сил, и людей у них хватало. Подняли всю ВОХРу, армейцев нагнали, пограничников с собаками — быстро на скит вышли. А тут уж никто и ни с кем не церемонился...

Изначально не ставилось задачи кого-то задерживать, в лагерь тащить, судить, срок добавлять. Нет, постреляли всех и сразу — и беглецов, и отшельника. Крест поклонный свалили, часовенку по бревнышкам раскатали да все и в костер.

Да и трупы никто в лагерь тащить не собирался — много чести. У каждого отрубили кисти рук — для опознания. Ну, на дактилоскопию. Для отчета, значит — кто, когда, как. Тогда часто так делали. Трупы в болотце скинули...

А на другую весну на месте того болотца неожиданно озеро образовалось — как снег сходить-то начал, земля под болотцем и просела, да ровно так, словно кто круг прочертил. Вот с того времени и контуры храма в озере стали видны, да звон колокольный слышен...

— Слушай, Петро, а откуда такие подробности? Да и вообще, все это, ну то, что ты мне сейчас рассказываешь, откуда?

— Видел. Все, что рассказываю, сегодня своими глазами видел. В озере...

— Может, просто пригрезилось, приснилось?.. Задремал, а потом сон за явь и принял?..

— Не знаю. Может, и так. Только отсюда ты уйдешь без меня.

— Чего это?.. — Иван удивленно приподнял брови.

— Который год уж я думал здесь остаться, душе моей здесь покойно. Да все не решался. А сегодняшние видения все и решили. Здесь мое место. Крест восстановлю. Часовенку. Мучеников поминать буду. Плотника-отшельника... Инструмент, кстати, его — здесь, в пещере потаенной, в ней же и иконы святые. Показали мне сегодня это место. А плотник я, сам знаешь, без похвальбы, не самый плохой — управляю.

— Ну, ты даешь, Петь! Вот уж чего не ожидал от тебя, так не ожидал! Что за мысли?! На день, на два, на недельку укрыться в таежной глуши от людей — это хорошо и даже полезно, сам иногда так поступаю, но уйти на всю оставшуюся жизнь?! Отшельничество?! Зачем тебе весь этот ад?.. Не понимаю. Хоть ты что сейчас говори — не понимаю...

— Людям зачастую трудно отличить рай от ада...

— Да и храм этот, думаю, и не храм вовсе — облака это в озере отраженные. Чуть солнцем подкрашенные. Вот тебе и купола золотые...

Хотя, пусть даже и правда все, что ты рассказал, пусть даже все, что мы видели реально, и все так здесь и было — зачем тебе, именно тебе, и именно сейчас здесь оставаться?! Жил ведь ты без этого озера с храмом, да и к Богу что-то я не замечал у тебя большого интереса, зачем все эти мысли об отшельничестве, о часовенках, о крестах? К чему все эти подвиги?!

— Ты думаешь, я не спрашивал себя об этом? Спрашивал. Уж сколько лет, особенно после смерти жены да и во время своей неожиданной болезни, днями, а особенно ночами, думал об этом. И так прикидывал, и эдак. Всю жизнь свою заново проживал. Всю душу свою перетряхивал. И не находил ответа. А сегодня утром все сложилось. Так все просто, и так все ясно. Словно прозрел. Понял я, что у каждого из нас своя дорога к Богу. Своя. По которой рано или поздно нам нужно пройти. Я свою дорогу нашел. И она привела меня сюда. Я дома. А облака ли в озере, храм ли...



Конец на слова Фадеева ничего не ответил. Казалось, что он даже и не вслушивался в то, что говорил ему друг. Сидел и отрешенно смотрел на каменную осыпь.

Рассветное солнце пробилось сквозь подушку облаков над гольцами, свежий ветерок заиграл листвою на деревьях и легкой рябью побежал по озеру. День вступал в свои права.

Наконец Иван медленно обернулся и каким-то долгим ищущим взглядом стал глядываться в лицо Фадеева. И вдруг даже не спросил, а выдохнул:

— Ты кто, Петр?..

— Я? — Фадеев перевел взгляд с озера на друга. — Я настоятель этого храма...

## 6

*Негоже роднику святому без поклонного креста да часовенки, негоже...*

*Хорошо отточенное закругленное лезвие плотницкого топора легко входит в тело закрепленного на плахах соснового бревна и подламывает отделяемую щепу словно шерхебель. Лицевой кант получается ровным, без волн. В опытной руке топорнице сидит плотно и усадисто. Дело делается знакомое, взмахи топора размеренные, без суеты и спешки. Спешка любому хорошему делу только во вред...*

